



Город полнится слухами — питательными для поэтов и мечтателей, желающих повторить духовное путешествие Данте, отбиться от львов, волчиц и пантер нашего времени, и губительными для нас, ученых, отсекающих, как пораженную гангреной конечность, всякую недомолвку, всякое обещание волшебного избавления, всякую веру в необоснованное, логически не выверенное чудо. Но я цепляюсь за эти слухи, как за веревку, брошенную в соленые воды лагуны, ведь меня тянет на дно, и где-то там, в чертогах богов античного моря, усеянного сверкающими перстнями дождей\*, звучит смех ее отца, разделивший мою жизнь на до и после. Может, пройти между колонн Сан-Марко, зажмурившись и понадеявшись, что неким чудом голова просто слетит с плеч и покатится, подобно голове отравленного поцелуем святого Иоанна?

Я говорю банальностями? Или красивостями? В общем, не так важно. Хорошо, что я вообще до сих пор говорю.

---

\* Титул выбранного главы Венецианской республики примерно до XVIII века. То же, что и правитель. Под брошенными в море перстнями здесь имеется в виду «ритуал обручения с морем», в рамках которого дож бросал перстень в воду и произносил: *Desponsamus te, mare* («Мы женимся на вас, Море»), как бы демонстрируя неразрывную связь моря и Венеции. *Здесь и далее прим. автора.*

Я смотрю на помятый листок *Notizie scritte*<sup>\*</sup>, который почему-то не выкинул, — а так хотел! — и пробегаю глазами новости об очередных свадьбах — вздрагиваю, — о небылицах, о разорившихся богачах и прибывших морем купцах, словом, о происшествиях серьезных и мелких. Но задерживаю взгляд лишь на самом глупом и невозможном — на слухах, которые могут спасти меня и милую Софи, ворвавшуюся в мою жизнь несколько месяцев назад стремительно и неожиданно, как врывается всякая любовь: мы открываем форточку, чтобы проветрить застоявшиеся комнаты с мебелью наших отцов и дедов, чтобы избавиться от затхлого запаха одиночества и смрада несбывшихся надежд, и она, любовь, несет свежесть моря и аромат сирени. Правда, с той же вероятностью может принести и чумное поветрие, обмануть, отравить и, в конце концов, убить; от этой эпидемии не спасет никакое божественное заступничество, не построят в благодарность за избавление от напасти стелы, не сочинят стихов. И снова я ударяюсь в размышления! Да, когда-то я и сам пробовал писать стихи — для нее, моей Софи, — но выходило из рук вон плохо. Нет, это не поэзия испортила меня. Это все науки! Математика учит стройности мысли, философия развращает метафорами и иносказаниями. Я же слишком люблю их обеих.

— Что за чепуху они пишут, синьор Исфакхьян! — возмущаюсь против воли, не замечая, как повышаю голос. — И почему эта чепуха кажется мне единственным спасением...

---

<sup>\*</sup> Венецианская печатная газета (если быть более точным — новостной листок), которая издавалась с 1556 года.

— Валентино, зачем так кричать? Мои старые уши могут такого не выдержать, и я залью весь пол кровью. Хотя тогда у тебя будет отличный шанс изучить ее состав или, быть может, продать так ненавистным тебе алхимикам. — Он потирает переносицу. Жмурится, чихает. — Но только если права моя старуха-жена и я действительно не старый армянин, а злонравный дракон... ай, прости-прости, я снова заговорился. А ты снова слишком горячишься. Впрочем, тебе положено. Молодость...

Он берет газету из моих рук, щурится, шевелит губами, читает, бормоча что-то себе под нос, и мне опять кажется, что, дай ему волю, он не замолчит, пока не испустит дух. Я тоже шурюсь — от блеска его начищенных медных пуговиц, горящих подобно огню античных мудрецов, не так далеко, по словам самого Исфакхьяна, ушедших от правды. Во многом я спорю с ним — спорил с начала своего ученичества, — и в этих его полушутках об огне тоже не вижу искр истины: меня всегда прельщали атомы Демокрита, способные, быть может, открыть мне тайну света. Но сейчас я не хочу останавливать моего старого Исфакхьяна, пусть и ослепну от пуговиц его дорогого халата — торговля книгами солидно уплотняет кошельки и животы. Может, оно и к лучшему. Тогда не увижу того ужаса, в который вот-вот превратится моя жизнь. Да, я не стану спорить: пусть он, как всегда, убедит меня в том, что писаки не марали бумагу понапрасну, в том, что сплетни о таинственном... Нет, не могу заставить себя даже подумать об этом! Хорошо, что Исфакхьян перестает шевелить губами и сам произносит вслух:

— Ну что же, Валентино, ты опять отвергаешь все, кроме того, во что уверовал, а это путь поэта, но не путь ученого. Кажется, первым ты не хотел быть ни за что

на свете. — Он возвращает мне газету, разглаживает козлиную бородку. Стучит пальцами по деревянному столу. Стынет чай. — Глупо отрицать движение планетарных сфер, пусть мы и можем спорить о том, как они движутся. Так же глупо отрицать и то, что эликсир философов, магистерий, назови его как хочешь, могли придумать и извлечь втайне. Тут даже нет повода для спора! Но я с радостью поспорю о том, прибыл ли он к нам в город с таинственным восточным мудрецом или нет. — Старый Исфакхьян выдыхается, отпивает чая. Как и всегда, громко, с наслаждением. — Но, так понимаю, ты хочешь, чтобы это оказалось правдой. И что толку в споре?

Он произнес это вслух. Он, мой старый учитель, ставший роднее погибших родителей, пусть и большой любитель проклятого языка алхимиков, усложненного ненужными образами и метафорами — огненными саламандрами, фантомными василисками и зелеными львами, — считает: в прочитанном нет ничего невозможного! Быть может, нам впервые не наврали? Не плодят слухи ради еще больших слухов?

Неужели у меня правда есть шанс? Вдруг я смогу добыть эликсир, дарующий, как судачат, вечную молодость, а еще — божественный талант во всем, в чем пожелаешь? Хотя иные шепчут наперекор первым, что его задача в трансмутации металлов... Ох, как пусты споры алхимиков! Подарок судьбы, не иначе, ведь проклятый дель Иалд никогда не отдаст мне Софи, но, если утолить его алчность, если преподнести само чудо... быть может, он станет сговорчивее? Ох, жаль, отец мой не нажил друзей-дипломатов! Они знают толк в торге, где ставки высоки, а невозможное становится возможным. Надо бы все взвесить, тщательно подумать, свериться с мудрыми книгами, переговорить с женой старого Исфакхьяна, знающей

все его лукавства, и со всеми детьми — старшими сыновьями и младшими дочерьями, — вот только новомодные карманные часы будто нависли прямо над моей головой, и звук их — громогласная симфония сфер, наполняющая воды каналов обреченным стенанием стиковых душ...

Выбора не остается.

Я снова вспоминаю прошлую ночь — видимо, последнюю нормальную в моей жизни, — и она гремит смехом отца Софи, этого старого колдуна, который, не прекращая смеяться, приказывает мне — никак иначе трактовать его жест нельзя! — встать. И я встаю. Разгоряченный — щеки наверняка красные, хорошо, что рядом нет зеркал, — поправляю рубашку и свободные штаны — отец, будь он жив, давно отругал бы меня за отрицание моды, презрение к бантам и кружевам, золотым лентам, этому пышному барочному водевилю. Тогда дель Иалд прекращает смеяться. Наступившая тишина — острая бритва. Я захлебываюсь кровью. Облизываю губы. Они взаправду липкие и соленые? Еще один приказ, вновь жестом, — выйти в коридор, оставив Софи. Я не оборачиваюсь — к чему привело это Орфея? Ни к чему не приведет и меня, приглашенного на аудиенцию.

— Да, — протягивает дель Иалд, ведя меня по коридору особняка. Я стараюсь не отвлекаться на множество картин неизвестного авторства, все здесь — в искусстве, любимой игрушке этого властителя наших судеб. — Давненько я так не смеялся. Но, конечно, Валентино, вы же понимаете, что ситуация не очень смешная?

Я молчу. Даже не киваю. Почему мне, пропитанному парфюмом свободолобивой Светлейшей, не боязно спорить о природе бытия и заповедях Господних, но страшно даже дышать в присутствии этого человека? О, ответ на поверхности! Так много судачат о нем, и так

многое — я знаю со слов Софи — правда, лишь чуть приукрашенная: говорят, его боятся иные банкиры — знают, что он мастер фокусов с деньгами, шепчут, что с легкостью обратит золотые цехины черными угольками; говорят, он видит произведения искусства насквозь — знают, что его коллекция огромна, шепчут, что от его сурового колдовского взгляда грустнеют и стареют всякие портреты, и даже обнаженные девы Боттичелли, дочери эфира и хаоса, смущаются, желают прикрыться. Ох, как понимаю я их! Сам укутался бы в десять одежд, спрятался бы под зачарованной эгидой, под плащом-невидимкой, которыми, говорят, торгуют нечистые на руку купцы посреди стамбульских базаров, — шепчут, что такая покупка поможет обмануть смерть. Помогла бы мне?

А ведь я не мог и подумать, что столкнусь с этим известным на всю Венецию синьором лицом к лицу: бледным к разъяренному. Когда-то давно отец рассказывал о дель Иалде: о подающем надежды коллекционере, понимающем искусство, угадывающем вечное — то, что тысячелетия спустя сочтут такой же жемчужиной, как античные шедевры. Тогда я воображал его отчего-то добрым и жизнерадостным; впрочем, отец таким и описывал его, однажды познакомившись на приеме у старого приятеля-банкира, — говорил, что познания его в искусстве бесценны, манеры — очаровательны. Коллекция дель Иалда наполнилась красотой, но для меня он был очередной пестрой маской дель арте, как сотни других отцовских знакомых. Даже когда маску эту он сменил — и о нем зашептались уже иначе, называя властным и жестким. А потом он стал еще и художником. С тех пор в особняке его собирались не только молодые творцы, жаждавшие патронажа, но и ценители прекрасного,

все как один твердившие: есть в картинах некая тайная, мистическая глубина, нечто непостижимое, подобное загадкам Востока или, быть может, древним учениям о природе души. Но почему-то никто — все сплетни приносил отец — не мог смотреть на его творения долго: черные вороны и райские птицы принимались омерзительно щебетать, прекрасные девы обращались жуткими старухами, а глаза седых ученых, склонившихся над свечами и черепами, мерцали дьявольским огнем.

Дель Иалд приводит меня в обеденную залу. Стол, как всегда, накрыт. На позолоченных блюдах — свежие фрукты, рядом — ажурные бокалы из муранского стекла: голубоватые ножки, овитые стеклянными щупальцами, и такие же голубоватые края. Интересно, каково на вкус выпитое из них вино? Соленое, как море, холодное, как глубины океана?

— Воды, вина? — предлагает дель Иалд.

Я снова молчу. Он тоже ничего не наливает себе — только протягивает руку к блюду, отрывает самую спелую виноградину от увесистой горсти, катает между пальцев. Блестят перстни. Дель Иалд смотрит сначала на виноградину, потом резко переводит взгляд на меня. Холодно. Погрустнел ли я? Появились ли вчера на моем лице морщины, пусть оно и не нарисовано бежевыми красками?

— И правильно делаете, что отказываетесь. Я мог бы запросто отравить вас, Валентино, — мне не впервой. Но мне вас, честное слово, жалко. Почти по-отцовски.

Даже улыбка его — злая, холодная, демоническая. Пусть сам он, со слов моей дорогой Софи, и мнит себя демиургом в минуты мечтаний, в минуты, когда в руках его кисть и краски, но не об этом, вовсе не об этом...

— Конечно, я могу просто отпустить вас. — Он садится на стул с резной спинкой. На нем я вновь замечаю морские мотивы: почему не обращал внимания раньше? Может, я давно утонул, может, прогневал Посейдона и скоро падет Троя — ее смоеет вода лагуны, подарившая ей жизнь, сольются альфа и омега? — Но что тогда будут говорить обо мне? Дель Иалд — слабак, дель Иалд — человек без чести, или, чего хуже, дель Иалд — добряк. Я уже не так молод, чтобы позволить своей репутации падать так низко. — Он перестает перекачивать виноградину. Вздыхает. — Валентино, я должен либо убить вас на месте — в моем доме всегда хорошо заточены ножи, — либо сослать, положим, в царство Пресвитера Иоанна, к людям с золотой кожей, шестью руками, глазами и ртами на груди... Думаю, вы не сомневаетесь — я такое могу. Иные капитаны готовы на очень многое, предложи им правильную цену. Но я, поверьте, хочу решить все мирно. Поэтому...

Дель Иалд наконец встает. В тусклом ночном освещении он кажется одной из великих планет, так будоражащих умы и нас, ученых, и их, магов, алхимиков, предсказателей и иных шарлатанов. Подходит вплотную ко мне, а я даже не сразу это замечаю.

— Валентино, разойдемся мирно, но при одном условии. Теперь вы должны организовать свадьбу моей дочери...

— Свадьбу? — слово кажется мне неправильным, заколдованным. Может, буквы перепутались в голове?

В тот миг я даже не успел разозлиться на мою милую Софи! Почему она не сказала раньше, почему не предупредила, позволяя любить ее беззаботно, а не продумывать планы спасения? Быть может, мы бы были уже где-то далеко-далеко, за краем мира, в причудливых

странах, воспетых врунами-путешественниками, где сняты всякие чары, — я ведь мечтал путешествовать, мнил себя великим мореплавателем, капитаном без имени, пѐто, слушавшим заветы многоумного Одиссея. Мне не удалось спросить у нее после, но, надеюсь, удастся спросить завтра или, быть может, перед самой свадьбой, смотря на ее жениха без лица — милая служанка Франсуаза шепнула мне, когда я покидал особняк, что жениха дель Иалд создал колдовскими руками, из глины и заклинаний, оживив с помощью ртутного сердца. Ох, алхимическая ртуть, не течешь ли ты в каждом из нас?! Нет, я не злюсь на мою милую Софи, слишком люблю ее, слишком переживаю: что теперь происходит с ней, запертой в водах собственного дома? Не злюсь, но хочу узнать ответ. Услышать правду, когда мы увидимся. Или... если мы увидимся.

— Конечно свадьбу. Вы же не думали, что я могу позволить ей связать жизнь с кем-то без рода, без имени и, в конце концов, без приличного костюма? — он снова смеется, коротко и холодно. — Все уже давно решено и запланировано. То, что вы не посвящены в чужие планы, — проблема ваша. Не переживайте так, я не изверг, я обеспечу вас всеми средствами — но, будьте любезны, Валентино, исполните все в лучшем виде. И не забудьте про свадебный подарок, чтобы доказать: то, что я недавно увидел, было не просто необдуманной игрой разгоряченного юноши. Вам понятно, Валентино?

Киваю. Ничего лучше не придумываю.

— Вот и славно. Помните, вы всегда можете отказаться. Но тогда... — Дель Иалд сжимает кулак. Виноградина лопается. Сок течет по ладони, капает на пол. — Думаю, так понятно?

Он снова смеется. Треплет меня по волосам липкой от сока рукой, ею же хлопает по плечу. Достает носовой платок с вышитыми золотом инициалами, вытирает ладонь.

— А теперь, — говорит наконец, — убирайтесь вон. Слуги покажут вам выход. Парадный, а не черный.

Снова хочу рассказать эту историю старому Исфахняну, пусть он и слышал ее уже не раз. Но я молчу, просто вспоминая все это, и перечитываю новость, и вздыхаю. Надо посидеть, подумать — ведь, кажется, наши жизни подобны механическому и выверенному движению планет; мы видим их примерную траекторию, да только не можем просчитать ее отклонений, не можем заранее узнать, что бы ни твердили звездочеты и королевские советники, о грядущих катастрофах: влюбленностях, болезнях, разочарованиях в себе.

Подумать мне не дают: старый Исфахнян тянет за руку, на улицу.

— Ты умеешь задавать вопросы, но совсем иного толка, — назидательно, как и обычно, говорит он, пока я щурюсь от солнца. Никогда оно еще не было так омерзительно, никогда не предвещало скорого конца! — Ты знаешь, как спросить: каков шанс, что эфир действительно существует, или же — точно ли Ньютон, выжигая себе глаза, был прав и солнечный свет на самом деле так многоцветен? Но ты совсем не готов спросить: где мне найти мудреца или шарлатана, о котором писали в газетах? Не можешь ты задать и другой вопрос: слышали ли вы что-то про эликсир?

— И что же вы предлагаете мне делать?

В ответ ярче его медных пуговиц блестит улыбка.

— Порой ты глуп, как моя старуха-жена. Как что? Спрашивать! Смотри и учись.

И тогда старый Исфакхнян начинает подходить к прохожим — как выбирает их, по одежде или выражению лица, а может, и во взгляде видит что-то недоступное мне, ценителю точных наук? — и задавать им один и тот же вопрос. Они даже не поднимают его на смех: кто-то задумывается, но пожимает плечами, кто-то дает короткий, не удовлетворяющий его ответ, кто-то молча ускоряет шаг.

— Ну что же ты, — говорит он мне, когда мы выходим на Сан-Марко. — Пока вопросы задаю только я! Ты никогда так плохо не учился!

— Вам не кажется, что все это бесполезно? — Еще чуть-чуть, и мы потеряемся в толпе: так многим можно задать сокровенный вопрос и так много среди них пустышек.

— Тут мы с тобой начнем философскую беседу, а тогда неизбежно вернемся к чаю и бессонным ночам, — улыбается старый Исфакхнян. — Нам же, Валентино, нужно другое. Ищи. Спрашивай.

Я изучаю толпу взглядом, но никто не кажется мне достойным внимания — все вокруг так...

Закончить мысль я не успеваю: замечаю *его*. Он спокойно проходит меж двух колонн — одетый подобно восточному мудрецу, забывшему о давно рухнувших великих храмах и умерщвленных во имя истинного Господа многоликих богах; несущий в руке странного вида корзину; смотрящий на всех — я встречаюсь с ним взглядом — глазами ученого, исследователя. Только он, очевидно, пытается постигнуть движение наших душ, далеко не тел.

Я кричу ему:

— Синьор, подождите! Я хотел бы спросить...

И тогда все начинается.



[Почитать описание, рецензии  
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

